全国草婴文学翻译大赛原文

Я живу с этим воспоминанием, и оно останется со мной до конца жизни. Ввиду того что конец может прийти скоро, предположу, что останется оно, видимо, и после смерти. Там встретятся все события и наши воспоминания о них. Если душа вечна, то сохранится, я думаю, и всё, к ней причастное, — поступки, события, ощущения. Пусть в каком-то другом, снятом, виде, в другой, может быть, последовательности, но сохранится, потому что я помню надпись на знаменитых воротах: *Бог сохраняет всё*.

Я касаюсь плеча моего соседа:

— Как вы полагаете, удар, который я наношу ближнему своему, он ведь должен следовать до того, как я прошу у него за это прощения? Такова последовательность этих событий?

В его глазах появляется слабое удивление.

— А каким образом они могут существовать иначе?

— Я сейчас подумал: могут. Ведь настоящее покаяние — это возвращение к состоянию до греха, своего рода преодоление времени. А грех не исчезает, он остается как бывший грех, как — не поверите — облегчение, потому что раскаян. Он есть и — уничтожен одновременно.

Мой собеседник кладет свою руку поверх моей, лежащей на подлокотнике, и сильно ее сжимает. В глазах слёзы.

— Из того, что вы сказали, я не понял ни слова. Но мне отчего-то кажется, что вы правы.

Самолет взял курс на посадку. Иннокентий, друг мой, держись.

— Что вы всё пишете?

— Описываю предметы, ощущения. Людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения.

— Мир Божий слишком велик, чтобы рассчитывать здесь на успех.

— Знаете, если каждый опишет свою, пусть небольшую, частицу этого мира... Хотя почему, собственно, небольшую? Всегда ведь найдется тот, чей обзор достаточно широк.

— Например?

— Например, авиатор.

Какое счастье, что в этом самолете нет Платоши.

Взять статуэтку Фемиды. Трудно представить без нее мое детство, она сопровождала самые яркие его моменты. Отламывая от нее весы, я еще не знал, какого рода инструмент себе готовлю. Но детская моя шалость была, оказывается, частью той драмы, которая годы спустя развернулась на берегу Ждановки. Я хочу сказать, что нет событий основных и неосновных, и всё важно, и всё в дело идет — будь оно хорошим или плохим.

Это понимает художник, рисующий жизнь в мельчайших деталях. Да, чего-то отразить он не в состоянии. Рисуя клумбу в южном городе, он не может вроде бы передать аромат цветов июльским вечером. И влажную духоту после дождя передать не может, в которой этот аромат растворяется, так что его можно пить. Но бывает удивительный момент, когда картина начинает благоухать. Потому что настоящее искусство — это выражение невыразимого, того, без чего жизнь неполна. Стремление к полноте выражения — это стремление к полноте истины.

Есть что-то, что остается за пределами слов и красок. Ты знаешь, что оно есть, но всё не можешь к нему подступиться — там глубина. Стоишь у самого прибоя и понимаешь, что дальше придется идти как-то иначе — не исключено, что прямо по воде. Потому что, сказав, например, “мое детство”, я не объясню будущей дочери ровно ничего. Чтобы дать ей хоть какое-то представление об этом, я должен буду описать тысячу разных подробностей, иначе ей не понять, в чем состояло тогдашнее мое счастье.

Что в таком случае ждет описания? Ну, конечно же, обои над кроватью — я до сих пор помню их цветочный узор. По нему за минуту до сна вечерами скользит мой палец. Звон крышки ночного горшка, пронзительный, как оркестровые тарелки. Из звуков памятен еще — при каждом моем движении — скрип кровати. Рука гладит ее блестящие холодные трубки, сплетается с ними, даря им свое тепло. Съезжает вниз, ощупывает складки простыни и упирается в колено сидящей у кровати бабушки. Я рассматриваю люстру и ее паучьи тени. В центре потолка светло, а по углам мрак. На шкафу, излучая справедливость, держит весы Фемида. Бабушка читает “Робинзона Крузо”.